

Нина Воронель

Былое
и дамы



Харьков
«ФОЛИО»

2018

Европейские кружева

Лц

Кошка Мурка умерла среди ночи. Леля спала крепко и не слышала стонов, несущихся из кошкиного ящика, и потону утром удивилась, что Мурка не вспрыгнула к ней на постель, — поздороваться и полизаться. Леля вылезла из-под одеяла и наклонилась над Муркиным ящиком — та лежала, странно запрокинув голову назад, и наощупь была холодная как лед. Леля затопала ногами и завопила диким голосом. На ее крик сбежалась вся семья. Мама только глянула на запрокинутую голову Мурки и все поняла. Она велела Леле немедленно вымыть руки с мылом и строго-настрого запретила прикасаться к мертвой кошке.

Рыдающая Леля объявила, что в гимназию не пойдет, а останется дома хоронить Мурку. Понимая, что спорить бесполезно, мама велела горничной Вере надеть перчатки и помочь Леле организовать похороны. Никто из братьев не захотел пропустить занятия из-за Лелиной кошки, и одна только Леля в сопровождении горничной Веры спустилась в сад, неся труп кошки в коробке от папиных сапог. Леля с железным упорством безрезультатно долбила лопатой твердую землю, пока мама не сжалась и не прислала на подмогу дворника Никиту. Никита быстро вырыл яму и ушел подметать тротуар перед домом, а Леля с Верой опустили коробку с кошкой в темную дыру и стали засыпать ее землей. Вера предложила прочитать над Муркой поминальную молитву, но Леля наотрез отказалась — никаких молитв: прощать Богу такую обиду она не собиралась. Она ушла в свою комнату, легла на кровать, укрылась с головой одеялом и принялась обдумывать, как поступить дальше.

Первым делом нужно было незаметно пробраться в папин кабинет и снять со стены центральный объект, вокруг кото-

рого Леля запланировала совершить церемонию отречения от Бога. Она осторожно вышла в коридор и прислушалась. Из кухни доносились громкие голоса мамы и кухарки — им было не до нее: они увлеченно обсуждали секреты приготовления рыбы в белом соусе. Леля бесшумно проскользнула в кабинет, плотно закрыла за собой дверь и ловко взобралась на папин письменный стол, что было строжайше запрещено. Стоя на столе, уже не трудно было снять со стены главную семейную реликвию — керамическую копию западной двери Исаакиевского собора, изображающую апостола Павла с мечом в руке. Папа получил ее в подарок от кого-то очень важного, чуть ли не от самого государя императора, и очень ею дорожил. Леля запеленала апостола Павла в заранее припасенное полотенце и, прижимая его к сердцу, вернулась в себе.

Теперь все было готово к спектаклю, не хватало только зрителей.

Петра

Я перечитала первые страницы своей будущей книги о неотразимой Лу Саломе и в который раз ужаснулась — за что я взялась? Смогу ли справиться?

К идее этой книги меня привел извилистый путь, начавшийся еще до моего рождения...

Моя мама была миловидной московской девочкой, которая жила обычной скудной жизнью девочки из бедной семьи, пока в нее не влюбился мой папа — младший секретарь посольства ГДР в Советском Союзе. И тут закрутилась такая канитель, что вся наша жизнь превратилась в сущий ад — и папина, и мамина, и моя. Папина — потому, что его очень быстро выслали из Союза назад в ГДР, а он ужасно страдал, так как жить не мог без моей мамы. Мамина — потому, что когда папу выслали, она уже была сильно беременна, и соседи, а под горячую руку и бабушка, мамина мама, обзывали ее шлюхой и немецкой подстилкой. А моя — потому, что когда маме и папе советские власти наконец разрешили поженить-

ся, мне уже исполнилось три года — на их свадьбе, которую праздновали одновременно с моим днем рождения, в торт пришлось воткнуть целых три свечи.

После свадьбы папа сразу увез маму в Берлин, потому что, во-первых, его впустили в Москву всего на неделю, а во-вторых, он очень спешил оказаться, наконец, с мамой наедине, то есть без меня. Поэтому меня оставили в Москве у бабушки, которая под горячую руку продолжала обзывать нас с мамой шлюхами и немецкими подстилками. Особенно доставалось мне: ведь мама жила в далеком городе Берлине, откуда время от времени посылала бабушке посылки и денежные переводы, а я торчала у бабушки под горячей рукой, щедрой на оплеухи и подзатыльники.

От этих подзатыльников я еще с ранних лет начала потихоньку терять веру в торжество добра. Не то, чтобы я знала эти слова, но их истинный смысл все ярче светился в моей детской душе. Мой переезд к родителям в Берлин уже мало что мог исправить, потому что я не знала ни слова по-немецки и никак не могла этот ужасный язык выучить. Ко времени, когда я все-таки освоилась среди бесконечных артиклей и приставок, мои родители уже успели рассориться и разойтись. Так что меня опять отправили к бабушке в Москву, где никто не знал немецкого языка, и все говорили на русском, который я за три берлинских года изрядно подзабыла.

В школе, куда меня послали по возвращении, все смеялись над моим акцентом и над тем, как нелепо я составляю фразы. И дразнили меня немецкой подстилкой, — особенно изощрялись девчонки, которые ужас как завидовали моим хорошеньким немецким платьицам и туфелькам. Один раз меня даже схватили в уборной, затолкали в кабинку, сорвали с меня пушистый голубой свитер и обмакнули его в унитаз. Мне пришлось пропустить следующие уроки — ведь не могла же я надеть мокрый свитер или выйти в коридор нагишом. Когда все разошлись по домам, уборщица тетя Надя вытащила меня из кабинки, где я пряталась, и пожалела — она прополооскала мой свитер под краном, завернула его в старую газету и принесла мне из раздевалки пальто, чтобы я могла уйти домой.

Увидев испорченный свитер, которому по московским меркам цены не было, бабушка с размаху закатила мне такую оплеуху, что я отлетела в угол и ударилась затылком о край столика для телевизора. Потом, когда меня привезли из больницы, бабушка долго плакала и проклинала себя за излишнюю горячность, но было уже поздно — я окончательно уверилась, что человек по природе зол.

Не помог и срочный приезд мамы, забравшей меня обратно в Берлин, где я опять вынуждена была преодолевать непреодолимый огневой заслон немецкой грамматики. К двенадцати годам я постигла сущность немецких спряжений и лишилась всяческих иллюзий — я научилась видеть окружающих насквозь: бабушку с ее жадностью и страхом перед тем, что скажут соседи, маму с ее эгоизмом и метаниями между грехом и добродетелью и папу с его ожесточенной любовью к порядку, превосмогающей все другие чувства.

Внешне моя жизнь выглядела совершенно нормальной и даже успешной — я закончила немецкую школу и поступила в университет Гумбольдта, намереваясь заняться историей. Я научилась жить не только без бабушки, но даже без мамы с ее переменными мужьями и без папы с его постоянными подругами, тем более что за это время во внешнем мире произошли большие изменения.

Где-то в самом начале университетского курса современной истории подлинная современная история перевернула вверх дном Берлинскую стену и вместе с нею весь уклад моей жизни. Получив степень магистра университета Гумбольдта, я стала искать подходящее место для работы над докторатом. Это было непросто — накатанные академические темы докторских диссертаций казались мне смертельно скучными.

И я выбрала для себя нечто оригинальное — историю террористической группы, орудовавшей в Германии в семидесятых годах и официально известной под именем «Фракция Красной Армии», а неофициально прозванной «Бандой Баадер—Майнхоф». Ни один немецкий университет не принял меня с моим проектом, но кто-то надоумил, что американские университеты более либеральны, чем наши. И я подала свой

проект на получение международной стипендии на тему входящего в моду террора.

Мне повезло — я получила грант на год работы в университете штата Вашингтон в городе Сиэтл, где, оказывается, недавно был создан специализированный институт Че Гевары, задача которого — создание летописи освободительных движений. Только американцы способны объективно изучать своих противников, хитроумно называя их освободительными движениями! У нас в Германии никогда бы не допустили подобного самоедства.

Университет штата Вашингтон оказался поразительно похожим на старые английские университеты — те же невысокие элегантные здания из серо-розового кирпича, утопающие в густой зелени, те же ухоженные лужайки, гладко расстеленные между корпусами многообразных факультетов.

Сначала мне трудно было привыкнуть к ватному американскому хлебу и к бездарному американскому кофе, отдающему нефтью даже после индивидуальной обработки. Однако богатство архивов института Че Гевары быстро примирило меня и с хлебом, и с кофе, и даже с чудовищным акцентом жителей Тихоокеанского побережья, грубо оскорбляющим мой первоклассный английский, выученный в специальной лондонской школе, куда отправлял меня в ранней юности мой дипломатический папа.

Со временем я освоилась в хранилищах документов и завела дружбу с директором института Синтией Корти, полной молодой дамой, страстной энтузиасткой изучения повадок врага. Она пять раз была замужем, но ни с одним мужем не задержалась, со всеми пятью развелась — это у них здесь считается хорошим тоном. Сейчас она живет одна, то есть без мужа, но вовсе не одиноко, а с четырьмя детьми, причем все они приемные и все разных рас, хотя почти одного возраста, и с любовником-метисом лет на пятнадцать ее моложе, который работает у нее нянкой. Я как безродная иностранка была приглашена к ним на Рождество есть традиционную индейку. Вся счастливая семейка сидела за праздничным столом — это было зрелище! Ни дать ни взять — картинка из учебника этнографии!